

Василь Быков

Волчья стая

1

С трудом протиснувшись в людском потоке через распахнутые железные ворота, Левчук очутился на просторной, запруженной автомобилями привокзальной площади. Здесь толпа пассажиров из только что пришедшего поезда рассыпалась в разных направлениях, и он замедлил свой и без того не слишком уверенный шаг. Он не знал, куда направиться дальше – по уходящей от вокзала улице в город или к двум желтым автобусам, поджидавшим пассажиров на выезде с площади. В нерешительности остановившись, опустил на горячий, в масляных пятнах асфальт неновый, с металлическими уголками чемоданчик и осмотрелся. Пожалуй, надо было спросить. В кармане у него лежал помятый конверт с адресом, но адрес он знал на память и теперь присматривался, к кому бы из прохожих обратиться.

В этот предвечерний час людей на площади было немало, но все проходили мимо с видом такой неотложной поспешности и такой занятости, что он

долго и неуверенно вглядывался в их лица, прежде чем обратиться к такому же, наверно, как сам, немолодому человеку с газетой, которую тот развернул, отойдя от киоска.

– Скажите, пожалуйста, как попасть на улицу Космонавтов? Пешком или надо ехать автобусом?

Человек поднял от газеты не очень довольное, как Левчуку показалось, лицо и сквозь стекла очков строго посмотрел на него. Ответил не сразу: то ли вспоминал улицу, то ли присматривался к незнакомому, явно нездешнему человеку в сером примятом пиджаке и синей рубашке, несмотря на жару, застегнутой до воротника на все пуговицы. Под этим испытующим взглядом Левчук пожалел, что не завязал дома галстук, который несколько лет без надобности висел в шкафу на специально для того вбитом гвоздике. Но он не любил да и не умел завязывать галстуки и оделся в дорогу так, как одевался дома по праздникам: в серый, почти еще новый костюм и первый раз надетую, хотя и давно уже купленную, сорочку из модного когда-то нейлона. Здесь, однако, все были одеты иначе – в легкие, с короткими рукавами тенниски или по случаю выходного, наверно, в белые рубашки с галстуками. Но не большая беда, решил он, сойдет и попроще – не хватало ему забот о своем внешнем виде...

– Космонавтов, Космонавтов... – повторил

человек, вспоминая улицу, и оглянулся. – Вон садитесь в автобус. В семерку. Доедете до площади, там перейдете на другую сторону, где гастроном, и пересядете на одиннадцатый. Одиннадцатым проедете две остановки, потом спросите. Там пройти метров двести.

– Спасибо, – сказал Левчук, хотя и не очень запомнил этот непростой для него маршрут. Но он не хотел задерживать, видно, занятого своими делами человека и только спросил: – Это далеко? Наверно, километров пять будет?

– Каких пять? Километра два-три, не больше.

– Ну, три можно и пешком, – сказал он, обрадовавшись, что нужная ему улица оказалась ближе, чем ему показалось сначала.

Не спеша он пошел по тротуару, стараясь своим чемоданчиком не очень мешать прохожим. Шли по двое, по трое, а то и небольшими группками – молодые и постарше, все заметно торопясь и почему-то все навстречу ему, в сторону вокзала. Возле попавшегося ему на пути продуктового магазина народу было и еще больше, он взглянул в блестящие стекла витрины и удивился: у прилавка, словно пчелиный рой, гудела плотная толпа покупателей. Все это было похоже на приближение какого-то праздника или городского события, он прислушался к обрывкам торопливых разговоров рядом, но что-либо понять не смог и все

шел, пока не увидел на огромном щите оранжевое слово «футбол». Подойдя ближе, прочитал объявление о намеченной на сегодня встрече двух футбольных команд и с некоторым удивлением понял причину оживления на городской улице.

Футболом он мало интересовался, даже по телевизору редко смотрел матчи, считая, что футбол может увлекать ребятшек, молодежь да тех, кто в него играет, а для пожилых и здравомыслящих – занятие это малосерьезное, детская забава, игра.

Но горожане, наверно, относились к этой игре иначе, и теперь по улице трудно было пройти. Чем меньше времени оставалось до начала матча, тем заметнее торопились люди. Переполненные автобусы едва ползли возле тротуаров, из незакрытых дверей гроздьями свисали пассажиры. Зато в обратном направлении большинство автобусов катило пустыми. Он ненадолго остановился на углу улицы и молча поудивлялся этой особенности городского быта.

Потом он долго и не спеша шел по тротуару. Чтобы не надоедать прохожим расспросами о дороге, посматривал на углы домов с названиями улиц, пока не увидел на стене одного из них синюю табличку с долгожданными словами «Ул. Космонавтов». Номера, однако, тут не было, он прошел к следующему зданию и убедился, что

нужный дом еще далеко. И он пошел дальше, приглядываясь по дороге к жизни большого города, в котором никогда прежде не был и даже не предполагал быть, если бы не обрадовавшее его письмо племянника. Правда, кроме адреса, племянник ничего больше не сообщил, даже не разузнал, где и кем работает Виктор, что у него за семья. Но о чем мог разузнать студент-первокурсник, который случайно наткнулся на знакомую фамилию в газете и по его просьбе раздобыл в паспортном столе адрес. Вот теперь сам обо всем узнает – за этим ехал.

Прежде всего ему радостно было сознавать, что Виктору удалось пережить войну, после которой судьба, надо полагать, отнеслась к нему благосклоннее. Если живет на такой видной улице, то, наверное, не последний человек в городе, может, даже какой-либо начальник. В этом смысле самолюбие Левчука было удовлетворено, он чувствовал, что тут ему почти повезло. Хотя он понимал, конечно, что достоинство человека не определяется только его профессией или должностью – важен еще ум, характер, а также его отношение к людям, которые в конце концов и решают, чего каждый стоит.

Присматриваясь к огромным, многоэтажным, из светлого кирпича фасадам со множеством балконов, заставленных у кого чем – лежаками,

раскладушками, старыми стульями, легкими столиками и ящиками, разным домашним хламом, опутанным бельевыми веревками, – он старался представить себе его квартиру, тоже конечно, с балконом где-нибудь на верхнем этаже дома. Он считал, что квартира тем лучше, чем выше она расположена – больше солнца и воздуха, а главное – далеко видать, если не до конца, то хотя бы до половины города. Лет шесть назад он гостил у сестры жены в Харькове, и там ему очень понравилось наблюдать до вечерам с балкона, хотя тот и был не очень высоко – на третьем этаже десятиэтажного дома.

Интересно все же, как его примут...

Сперва, конечно, он постучит в дверь... Не очень чтоб громко и настойчиво, не кулаком, а лучше кончиком пальца, как перед отъездом наставляла его жена, и, когда откроется дверь, отступит на шаг назад. Кенку, пожалуй, лучше снять раньше, может, еще в подъезде или на лестнице. Когда ему откроют, он сперва спросит, здесь ли живет тот, кто ему нужен. Хорошо, если бы открыл сам Виктор, наверно, он бы его узнал, хотя и прошло тридцать лет – время, за которое мог до неузнаваемости измениться любой. Но все равно, наверно, узнал бы. Он хорошо помнил его отца, а сын должен хоть чем-нибудь походить на отца. Если же откроет жена или кто из детей... Нет,

пожалуй, дети еще малые. Хотя вполне могут открыть и дети. Если ребенку пять или шесть лет, почему бы не открыть дверь гостю. Тогда он спросит хозяина и назовет себя.

Тут, чувствовал он, наступит самое важное и самое трудное. Он уже знал, как это радостно и тревожно – встретить давнего своего знакомого. И воспоминание, и удивление, и даже какое-то чувство неловкости от того странного открытия, что ты знал и помнил вовсе не этого стоящего перед тобой незнакомого человека, а другого, навечно оставшегося в далеком твоём прошлом, воскресить которое не в состоянии никто, кроме твоей не мутнеющей с годами памяти... Потом его, наверно, пригласят в комнату и он переступит порог. Само собой, квартира у них хорошая – блестящий паркет, диваны, ковры, – не хуже, чем у многих теперь в городе. У порога он оставит свой чемоданчик и снимет ботинки. Обязательно надо не забыть снять ботинки, говорят, в городе теперь повелся такой обычай, чтобы обувь снимать у порога. Это дома он привык в кирзе или резине переться прямо от порога к столу, но здесь он не дома. Значит, перво-наперво снять ботинки. Носки у него новые, купленные перед поездкой в сельмаге за рубль шестьдесят шесть копеек, с носками конфуза не будет.

Потом пойдет разговор, конечно, разговор

будет нелегкий. Сколько он ни думал, не мог представить себе, как и с чего они начнут разговор. Но там будет видно. Наверно, его пригласят за стол, и тогда он вернется за своим чемоданчиком, в котором всю дорогу тихонько булькает большая бутылка с заграничной наклейкой и дожидается своего часа кой-какой деревенский гостинец. Хотя и в городе теперь сытно, но кольцо деревенской колбасы, баночка меду да пара копченых лещей собственного улова, наверно, окажутся не лишними на хозяйском столе.

Задумавшись, он прошел дальше, чем следовало, и вместо седьмого десятка увидел на углу цифру восемьдесят восемь. Немного подосадовав на себя, повернул обратно, быстрым шагом миновал скверик, здание с огромной, на целый этаж вывеской «Парикмахерская» и увидел на углу номер семьдесят шесть. Минуту он в недоумении глядел на него, не в состоянии понять, куда же девался целый десяток домов, как услышал вежливый голосок рядом:

– Дядя, а какой вам дом надо?

Сзади на тротуаре стояли две девочки – одна, белоголовая, лет восьми, помахивая вокруг себя сеткой с пакетом молока, простодушно рассматривала его. Другая, чернявенькая, ростом чуть выше подружки, в коротких мальчишечьих штанишках, вылизывала из бумажки мороженое,

несколько сдержаннее наблюдая за ним.

– Мне – семьдесят восьмой. Не знаете, где такой?

– Семьдесят восьмой? Знаем. А какой корпус?

– Корпус?

О корпусе он слышал впервые, на корпус он просто не обратил внимания, запомнив лишь номера дома и квартиры. Какой еще может быть корпус?

Чтобы убедиться, что не ошибается, он опустил на тротуар тяжеловатый таки свой чемоданчик и достал из внутреннего кармана пиджака потертый конверт с понадобившимся теперь адресом. Действительно, после номера дома была еще буква К и цифра 3, а потом уже значился номер квартиры.

– Вот, кажется, три. Корпус три, так, кажется.

Девочки, разом заглянув в его бумажку, подтвердили, что корпус действительно третий, и сообщили, что они знают, где этот дом.

– Там Нелька-злая живет, это за грибок-песочницей, – сказала чернявенькая с мороженым. – Мы вам покажем.

С некоторой неловкостью он пошел следом за ними. Девочки обошли угол дома, за которым оказался огромный, не очень еще обжитой двор в окружении нескольких пятиэтажных домов, отделенных друг от друга вытоптаннами

площадками, полосами асфальта и рядами молодых, недавно посаженных деревьев. На скамейках возле подъездов судачили женщины, где-то между домами бухал волейбольный мяч, и по асфальту гоняли на велосипедах мальчишки. Всюду бегала, горланила, суетилась детвора. Девочки шли рядом, и меньшая спросила, заглядывая ему в лицо:

– Дядя, а почему у вас другой руки нет?

Подружка понимающе перебила ее тихим голосом:

– Ну что ты спрашиваешь, Ирка? Дядину руку на войне оторвало. Правда, дядя?

– Правда, правда. Догадливая ты, молодец.

– У нас во дворе живет дядя Коля, так у него только одна нога. Другую у него немцы оторвали. Он на маленькой машине ездит. Маленькая такая машинка, чуть больше мотоцикла.

– А моего дедушку фашисты на войне убили, – печально вздохнув, сообщила подружка.

– Они хотели уничтожить всех, но наши солдаты не дали. Правда, дядя?

– Правда, правда, – сказал он, с улыбкой слушая их лепет о том, что ему было так близко и знакомо. Меньшая тем временем, забежав вперед, повернулась к нему, продолжая раскручивать возле себя сетку с пакетом.

– Дядя, а у вас есть медали? У моего дедушки было шесть медалей.

– Шесть – это хорошо, – сказал он, избегая ответа на ее вопрос. – Значит, герой был твой дедушка.

– А вы? Вы тоже герой? – забавно жмурясь от солнца, допытывалась меньшая.

– Я? Да какой я герой! Я не герой... Так...

– Вон этот дом, – показала чернявая через зеленый ряд молодых липок на такой же, как и все тут, пятиэтажный дом из серого силикатного кирпича. – Третий корпус.

– Ну, спасибо, девочки. Большое спасибо! – сказал он почти растроганно. Девочки обе разом охотно пропели свое пожалуйста и побежали по дорожке в сторону, а он, вдруг заволновавшись, замедлил шаг. Значит, уже приехал! Почему-то захотелось отодвинуть на какое-то после и этот дом, и предстоящую встречу с тем, о ком он думал, вспоминал, не забывал все эти долгие тридцать лет. Но он преодолел в себе это неуместное теперь малодушие – коль уж приехал, то надо было идти, хотя бы взглянуть одним глазом, поздороваться, убедиться, что не ошибся, что это именно гот, который столько для него значил.

Сначала он подошел к углу дома и сличил номер в бумажке с тем, что оранжевой краской был выведен на шершавой стене. Но девочки не ошиблись, действительно на стене значилось К-3, он спрятал письмо в карман, тщательно застегнул

его на пуговицу, взял чемоданчик. Теперь надо было разыскать квартиру, что, пожалуй, тоже не просто в такой громадине на сотню или больше квартир.

Не очень решительно, оглядываясь по сторонам, он направился к первому подъезду, согнав по пути серую кошку, лениво разлегшуюся возле клумбы. Прежде чем открыть дверь, прочитал на ней сообщение о номере почтового индекса, о том, что, уходя из квартиры, следует выключать электроприборы, ознакомился с напечатанным на папиросной бумажке объявлением о собрании квартиросъемщиков по поводу благоустройства территории двора. Выше над дверью висела табличка с указанием подъезда и номерами квартир – от первой до двадцатой, следовательно, нужной ему квартиры здесь не было. Поняв это, он прошел вдоль дома, миновал подъезд номер два и свернул в третий.

На скамейке у самой двери сидели две древние, одетые, несмотря на жару, во все теплое старухи, одна даже в валенках, другая, державшая в руках палку, сосредоточенно водила ею по асфальту. Прервав свою тихую беседу, они внимательно пригляделись к нему, очевидно, ожидая вопроса. Но он ни о чем не спросил, он уже знал, где и что надо искать, и с некоторой неловкостью прошел мимо, взглядываясь в табличку

над дверью. Кажется, на этот раз он не ошибся, нужная ему квартира была здесь. Почувствовав, как дрогнуло сердце в груди, он открыл ногой дверь и вошел в подъезд.

На первой площадке было четыре квартиры – от сороковой до сорок четвертой, и он не спеша пошел выше, миновал синий ящик с рядами занумерованных отделений, из которых торчали уголки газет. Присмотревшись к номерам, он понял, что пятьдесят вторая должна быть этажом выше.

На очередной лестничной площадке пришлось перевести дыхание: с непривычки к крутому подъему одолела одышка. К тому же он не мог отделаться от странной, все время донимавшей его неловкости, словно он шел с обременительной просьбой или был виноват в чем-то. Конечно, как он ни думал, как ни успокаивал себя, а понимал, что волноваться еще придется. Наверно, было бы лучше эту встречу устроить несколькими годами раньше, да разве он что-нибудь звал о нем раньше?

Дверь пятьдесят второй оказалась на площадке справа, как и у всех тут, она была окрашена масляной краской, с аккуратным половичком у порога, номером сверху. Поставив у ног чемоданчик, он передохнул и не сразу, преодолевая в себе нерешительность, тихо постучал согнутым пальцем. Потом, выждав, постучал снова. Показалось, где-то раздались голоса, но,

прислушавшись, он понял, что это звучало радио, и постучал еще. На этот его стук открылась дверь соседней квартиры.

– А вы позвоните, – сказала с порога женщина, торопливо вытирая передником руки. Пока он недоуменно осматривал дверь в поисках звонка, она переступила порог и сама нажала едва заметную на дверном косяке черную кнопку. За дверью трижды раздался пронзительный треск, но и после этого пятьдесят вторая не открылась.

– Значит, нет дома, – сказала женщина. – С утра тут малая бегала, да вот что-то не видно. Наверно, пошли куда в город.

Обескураженный неудачей, он устало прислонился к перилам. Как-то он не подумал раньше, что хозяев может не оказаться дома, что они могут куда-либо уехать. Впрочем, понятное дело. Разве он сам весь день сидит дома? Даже и теперь, когда вышел на пенсию.

Но, видно, делать тут было нечего – не ждать же йог знает сколько на этой площадке, – и он отправился вниз. Соседка перед тем, как закрыть свою дверь, крикнула сзади:

– Да футбол же сегодня! Как бы не на футболе они.

Может, и на футболе или еще где. Мало ли куда можно пойти в городе в погожий выходной день – в парк, кино, ресторан, театр; наверно,

интересных мест тут хватает, не то что в деревне. Уж не надеялся ли он, дурак, что они тридцать лет будут сидеть дома и ждать, когда он зайвится к ним в гости?

Он протопал вниз шесть крутоватых лестничных маршей и вышел из подъезда. Старухи при его появлении снова прервали свою беседу и снова с преувеличенным интересом уставились на него. Но в этот раз он не почувствовал прежней неловкости и остановился на краю дорожки, размышляя, как поступить дальше. Наверное, все-таки надо подождать. Тем более что после долгой ходьбы хотелось присесть, вытянуть ноги. Осмотревшись, он заметил в глубине двора в тени какого-то кирпичного строения свободную скамейку и медленным шагом утомленного человека направился к ней.

Поставив на скамейку чемоданчик, он сел и с наслаждением вытянул натруженные ноги. Тут он отругал себя за то, что послушал жену и надел новые ботинки – лучше бы ехать в старых, разношенных. Теперь неплохо было бы их совсем снять с ног, но, оглянувшись, он постеснялся: вокруг были люди, в песочнице под деревянным грибком играли дети. Невдалеке у такой же, как эта, постройки – гаража двое мужчин возились возле разобранного, с поднятым капотом «Москвича». Отсюда ему хорошо был виден подъезд со

старухами и было удобно наблюдать за прохожими – казалось, он сразу узнает хозяина пятьдесят второй, как только тот появится у своего подъезда.

И он решил никуда не ходить, дожидаться тут. Сидеть было, в общем, покойно, не жарко в тени, можно было не торопясь наблюдать жизнь нового городского квартала, который он видел впервые и в котором ему многое нравилось. Правда, мысли его то и дело возвращались к его давнему прошлому, к тем двум партизанским дням, которые в конце концов и привели его на эту скамейку. Теперь ему не было надобности припоминать, напрягать свою немолодую уже память – все, что произошло тогда, помнилось до мельчайших подробностей, так, если бы это случилось вчера. Три десятка лет, минувших с тех пор, ничего не приглушили в его цепкой памяти, наверно, потому, что все пережитое им в те двое суток оказалось хотя и самым трудным, но и самым значительным в его жизни.

Множество раз он передумывал, вспоминал, переосмысливал события тех дней, каждый раз относясь к ним по-разному. Что-то вызывало в нем запоздалое чувство неловкости, даже обиды за себя тогдашнего, а что и составляло предмет его скромной человеческой гордости. Все-таки это была война, с которой не могло сравниться ничего последующее в его жизни, а он был молод, здоров, и особенно не задумывался над смыслом своих

поступков, которые в большинстве сводились лишь к одному – убить врага и самому увернуться от пули.

2

Тогда все шло само по себе – трудно, тревожно, голодно, они пятые сутки отбивались от наседавших карателей, вымотались до предела, и Левчуку очень хотелось спать. Но только он задремал под елкой, как кто-то его окликнул. Голос этот показался знакомым, и сон его с той минуты ослаб, готовый исчезнуть совсем. Но не исчез. Сон был такой неотвязный и с такой силой владел организмом, что Левчук не проснулся и продолжал лежать в зыбком состоянии между забытьем и явью. В полусонное его сознание то и дело врывалось ощущение тревожной лесной реальности – шума ветвей в кустарнике, какого-то разговора поодаль, звуков негромкой, хотя и недалекой, стрельбы, которая не затихала вокруг с первого дня блокады. Однако Левчук упорно обманывал себя, что ничего не слышит, и спал, ни за что на свете не желая проснуться. Ему надо было поспать хотя бы час, кажется, он впервые в жизни заимел такое право на сон, которого теперь, кроме немцев, никто не мог лишить его в этом лесу – ни старшина, ни ротный, ни даже сам командир отряда.

Левчук был ранен.

Ранило его под вечер на Долгой Гряде, вскоре после того, как рота отбила четвертую за день атаку и каратели, постаскивав с болота своих убитых и раненых, немного успокоились. Наверно, они ожидали какого-то приказа, а начальство их медлило. Нередко случается на войне, что командир, четыре атаки которого не принесли успеха, чувствует надобность подумать, прежде чем отдать команду на пятую. Уже несколько поднаторевший в военных делах Левчук догадался, сидя в своем неглубоком, перевитом корнями окопчике, что каратели выдохлись и для роты наступил какой-никакой перерыв. Выждав еще немного, он опустил на бруствер увесистый приклад своего «дегтяря» и достал из кармана недоеденную вчера горбушку. Настороженно поглядывая перед собой на неширокое лесное пространство с осокой, кустарником и неглубоким мшистым болотцем, он сжевал хлеб, несколько заморив червяка, и почувствовал, что хочет курить. Как на беду, курево кончилось, и он, прислушавшись, окликнул соседа, сидевшего невдалеке в таком же мелком, отрытом в песке окопчике, от которого в тихой вечернем воздухе уже потянуло душистым дымком махорки.

– Кисель! Кинь «бычка»!

Кисель, немного погодя, кинул, однако не

очень удачно – надломленная ветка с зажатым в разломе «бычком» упала, не долетев до окопчика, и Левчук не без опаски потянулся за ней рукой. Но достать не смог и, высунувшись из окопчика по пояс, потянулся снова. В этот момент под рукой что-то стремительно щелкнуло, по лицу стегануло хвоей, сухим песком и недалеко за болотцем ахнул винтовочный выстрел. Бросив злополучный «бычок», Левчук рванулся назад в окопчик, не сразу почувствовав, как в рукаве потеплело, и он с удивлением увидел на плече в пиджаке небольшую дырочку от пули.

– Ах ты, холера!

Это было куда как скверно, что его ранило, да еще таким глупым образом. Но ранило, и, по-видимому, серьезно: кровь вскоре густо потекла по пальцам, в плече запекло, защипало. Опустившись в окопчик и выругавшись, Левчук кое-как обернул плечо несвежей ситцевой тряпкой, в которую заворачивал хлеб, и сжал зубы. Только со временем до его сознания стал доходить весь невеселый смысл его ранения, взяла злость на себя за неосторожность, а больше на тех, за болотцем. Испытывая все усиливающуюся боль в плече, он схватился за пулемет, чтобы хорошей очередью чесануть по лозняку, из которого его так вероломно подкараулили, да только сдавленно ойкнул. От прикосновения пулеметного приклада к плечу его

пронизала такая боль, что Левчук сразу понял: отныне он не пулеметчик. Тогда, не высовываясь из окопа, он снова прокричал Киселю:

– Скажи ротному: ранило! Ранило меня, слышь?

Хорошо, что уже смеркалось, солнце после бесконечного знойного дня сползло с небосклона, болотце заволакивалось реденькой кисеей тумана, сквозь которую уже плохо было видеть. Немцы так и не начали своей пятой атаки. Когда немного стемнело, на сосновый пригорок прибежал ротный Межевич.

– Что, ранило? – растянувшись рядом на сухой хвое, спросил он, вглядываясь в притуманенное болото, из которого тянуло пороховой вонью и повеяло вечерней прохладой.

– Да вот, в плечо.

– В правое?

– Ну.

– Ладно, что ж, – сказал ротный. – Дуй к Пайкину. Пулемет отдашь Киселю.

– Кому? Тоже нашли пулеметчика!..

В этом распоряжении ротного Левчук поначалу усмотрел что-то оскорбительное для себя: отдать исправный, ухоженный им пулемет Киселю, этому деревенскому дядьке, который как следует не освоился еще и с винтовкой, означало для Левчука сравняться с ним и во всем прочем. Но Левчук не

хотел с ним равняться, пулеметчик была у них специальность особая, на которую подбирали лучших партизан, бывших красноармейцев. Правда, красноармейцев уже не осталось, и пулемет действительно вручить было некому. А впрочем, пусть ротный решает как знает, рассудил Левчук, не его это забота, теперь он раненый.

С подчеркнутым безразличием он отнес пулемет под соседнюю сосну Киселю, а сам налегке побрел в глубь леса к ручью. Там, в тылу этого обложенного карателями урочища, и размещалось хозяйство Верховца с Пайкиным, их отрядных «помощников смерти», как в шутку называли врачей партизаны. Отчасти они имели для того основание, так как Пайкин до войны работал зубным врачом, а Верховец вряд ли когда-нибудь вообще держал в руках бинт. Однако лучших врачей у них не нашлось, и эти два и лечили, и перевязывали, и даже, случалось, отрезали руки или ноги, как тому Крицкому, у которого приключилась гангрена. И ничего, говорят, живет где-то на хуторе, поправляется. Хотя и с одной ногой.

Возле ручья у шалаша санчасти уже сидело несколько человек раненых, Левчук дождался своей очереди, и доктор впотьмах, кое-как обтерев жгучей перекисью водорода его окровавленное плечо, туго стянул его самодельным холщовым бинтом.

– Суй руку за пазуху и носи. Ничего страшного. Через неделю будешь кувалдой махать.

Кому не известно, что хорошее слово доктора иногда лечит лучше лекарства. Левчук сразу почувствовал, как притихла боль в плече, и подумал, что, как только настанет утро, сразу вернется на Долгую Грядку в роту. А пока он поспит. Больше всего на свете он хотел спать и теперь заимел на это полное право...

После короткой невнятной тревоги он снова, кажется, задремал под елью на ее жестких узловатых корнях, но скоро опять услышал близкий топот, голоса, шорох повозки в кустах и какую-то суету рядом. Он узнал голос Пайкина, а также их нового начальника штаба и еще кого-то из знакомых, хотя со сна не мог понять кого.

– Не пойду я. Не пойду никуда...

Конечно, это была Клава Шорохина, отрядная радистка. Ее звонкий голос Левчук узнал бы за километр среди сотен других голосов, а сейчас он слышал рядом, в десяти шагах от него. Сон его сразу пропал, он проснулся, хотя и не мог еще раскрыть глаз, только повел под телогрейкой раненым плечом и затаил дыхание.

– Как это – не пойдешь? Как не пойдешь? Что, мы тебе тут больницу откроем? – гудел знакомый злой бас их нового начальника штаба, недавнего комроты-один. – Пайкин!

– Я тут, товарищ начштаба.

– Отправляйте! Сейчас же отправляйте вместе с Тихоновым! До Язминок как-нибудь доберутся, а там у Лесковца перебудет. В Первомайской.

– Не пойду! – опять послышалось из темноты безысходно-тоскливое в своей безнадежности возражение Клавы.

– Поймите, Шорохина, – мягче вступил в разговор Пайкин. – Вам ведь нельзя тут. Вы же сами сказали: пора.

– Ну и пусть!

– Убьют же к чертовой матери! – кажется, не на шутку разозлился начштаба. – На прорыв идем, на пузе ползти придется! Ты понимаешь это?

– Пусть убивают!

– Пусть убивают – вы слышали? Раньше надо было, чтобы убили!

Наступила неловкая пауза, слышно было, как тихонько всхлипнула Клава да где-то поодаль стегал коня ездовой: «Каб ты сдох, вовкарэзина!» По всей видимости, тылы куда-то собирались переезжать, но Левчук все еще не хотел просыпаться, прогонять сон и даже не раскрыл глаз – наоборот, затаился, придержал дыхание и слушал.

– Пайкин! – решительным тоном произнес начштаба. – Сажайте в повозку и отправляйте. С Левчуком отправляйте, если что, он досмотрит. Но где Левчук? Ты же говорил, тут?

– Тут был. Я перевязывал.

«Вот тебе и поспал!» – уныло подумал Левчук, все еще не шевелясь, будто надеясь, что, может, вместо него позовут другого.

– Левчук! А Левчук! Грибоед, где Левчук?

– Да тут где-то спал. Я видел, – предательски просипел поодаль знакомый голос ездового санчасти Грибоеда, и Левчук молча про себя выругался: он видел! Кто его просил видеть?

– Ищите Левчука! – распорядился начштаба. – Кладите на воз Тихонова. И через гать. Пока еще там дыру не заткнули. Левчук! – зло крикнул начальник штаба.

– Я! Ну что? – с раздражением, которое теперь он не считал нужным скрывать, отозвался Левчук и не спеша выбрался из-под обвисших до самой земли ветвей елки.

Во мраке лесной ночи ни черта не было видно, но по неясным разрозненным звукам, приглушенным голосам партизан, какому-то суетному ночному оживлению он понял, что стойбище снималось с места. Из-под елок выезжали повозки, суетясь в темноте, возчики запрягали коней. Кто-то шевелился рядом, и по шороху плащ-палатки на рослой фигуре Левчук узнал начальника штаба.

– Левчук! Топкую гать знаешь?

– Ну знаю.

– Давай, Тихонова отвезешь! А то пропадет парень. В Первомайскую бригаду отвезешь. Через гать. Разведка вернулась, говорят, дыра. Можно еще проскочить.

– Ну вот еще! – с неприязнью сказал Левчук. – Чего я в Первомайской не видел! Я в роту пойду!

– Какую роту? Какую роту, если ты ранен?! Пайкин, куда он ранен?

– В плечо. Пулевое касательное.

– Ну вот, касательное. Так что давай на гать. Вот повозка под твое начало. И это... Клаву захватишь.

– Тоже в Первомайскую? – недовольно проворчал Левчук.

– Клаву? – Начштаба на секунду запнулся, казалось, он не имел определенного мнения, куда лучше отправить Клаву. И тогда из темноты тихо отозвался Пайкин:

– Клаву лучше бы в какую деревню. К бабе. К какой-нибудь опытной бабе.

– Бабе, бабе! – раздраженно подхватил Левчук и отвернулся, левой рукой сдвигая на ремне жесткую немецкую кобуру с парабеллумом, который надавил бедро. – Не хватало мне еще...

Что касалось Клавы, то он уже догадывался, в чем было, дело, но он и во сне не видел таких нелепых забот – все пойдут на прорыв, а ему отбиваться неизвестно куда, в Первомайскую

бригаду, да еще при такой компании – Грибоед, Клава, этот доходяга Тихонов... Левчук, как только пришел вечером с Долгой Гряды, обратил на него внимание – десантник отрешенно лежал возле шалаша санчасти, прикрытый какой-то дерюжкой, из-под которой как чурбан торчала обмотанная бумажными бинтами его голова. Глаза его тоже были забинтованы, он не шевелился и, казалось, не дышал даже, и Левчук с непонятной опаской прошел мимо, подумав, что, наверно, отфорсил десантничек. Да и эта Клава... Было время, когда Левчук посчитал бы за счастье проехаться с ней лишний километр по лесу, но не теперь. Теперь Клава его не интересовала.

Вот же чертово это ранение, сколько оно задало ему забот и, судя по всему, еще не меньше задаст впереди! Близкий свет эта Первомайская бригада, попробуй добраться до нее через фашистскую осаду, мало что разведка сказала: дыра! Еще неизвестно, какая и куда там дыра, поживаясь от ночной сырости, сам с собою рассуждал Левчук. Лучше бы он не отдавал Киселю пулемет и совсем не появлялся в этой санчасти.

Левчук уже собрался было поругаться с начальством и вернуться в роту, наверное, ротный бы не прогнал и он бы снова стал воевать вместе с другими, чем переться неизвестно куда и зачем. Но когда он вознамерился заявить о том, заявлять уже

было некому. Начштаба пошел прочь, в кустах прошуршала и стихла его плащ-палатка, а Пайкин еще раньше исчез в темноте, Рядом, постебывая хвостом по оглоблям, стояла лошадь, возле которой, прилаживая сбрую, топал ездовой Грибоед да, тихонько всхлипывая, ждала в стороне Клава, и Левчук, не обращая ни на кого внимания, выругался:

– Подсуропили, начальнички! Ну ладно же, трясцу вашей матери!

3

В сплошной темноте они ехали по лесу. Временами повозка едва не опрокидывалась на каких-то ямах и выворотнях, ветви кустарника нещадно скребли по телеге и стегали по седокам. Нагнув голову и оберегая под накинутой телогрейкой плечо, Левчук перестал уже и понимать, куда они едут. Хорошо, что Грибоед, кажется, знал местность и не спрашивал дорогу, лошадь с немалым усилием тащила повозку – думалось, едут правильно. Еще не отойдя от своей злости, Левчук молчал, слушая, как погромыхивает вокруг и больше всего сзади; иногда где-то загоралась ракета, и ее далекий дрожащий отсвет долго мерцал на верхушках деревьев, подсвечивая и без того светловатое летнее небо.

Кое-как продравшись сквозь чащобу кустарника, они наконец выехали на лесную дорожку. Повозка пошла ровнее, и Левчук уселся удобнее, слегка потеснив неподвижно лежавшего рядом десантника. Похоже, тот спал или был без сознания, и Левчук тихонько потянул за ствол его автомат, который мешал в телеге и ему и раненому. Но только он потянул автомат сильнее, Тихонов залапал подле себя рукой и цепко ухватился ею за шейку приклада.

– Н-не... Не трожь...

«Чудак! – удивленно подумал Левчук, сделав вид, что автомат его не интересует. – И чего он за него держится?..»

По правде говоря, Левчук был не прочь завладеть этим автоматом, потому как чувствовал, что скоро тот ему очень понадобится. В этой дороге вряд ли можно было избежать встречи с немцами, а у него был лишь парабеллум с двумя пачками патронов в запасе, да у Грибоеда торчала за спиной винтовка. Возможно, еще был какой-нибудь браунинг у Клавы – в общем, очень немного для того, чтобы пробиться за двадцать пять километров в Первомайскую бригаду. Особенно если за гатью немцы, что, пожалуй, так и окажется. Не может того быть, чтобы, блокировав урочище, они оставили неприкрытой гать. Мало что докладывает разведка...

Подумав так, Левчук тронул Грибоеда за локоть:

– Стой!

Ездовой потянул вожжи, лошадь остановилась, они настороженно прислушались. Погромыхивало далеко сзади, поблизости было тихо. Утихло, казалось, и под Дубровлянами, где весь вечер и ночь особенно люто грохотала стрельба, рядом отчетливо слышно было усталое дыхание лошади да шум ночного ветра в кустарнике.

– Далеко гать?

– Ды близко уже, – сказал Грибоед, не поворачивая к нему головы. – Выгарину проедем, а там соснячок и гребля.

– Туда не поедем, – решил Левчук.

– Во як! А куды ж?

– Давай куда в сторону.

– Як жа в сторону? – подумав, несогласно сказал Грибоед, по-прежнему не оборачиваясь к Левчуку. – Там болото.

– Поедем через болото.

Грибоед недолго подумал и с очевидным нежеланием свернул лошадь с дороги. Но по бездорожью лошадь идти не хотела, тем более через заросли, и ездовой, что-то ворча про себя, слез с повозки и взял коня под уздцы. Левчук тоже соскочил на землю и, оберегая здоровой рукой

раненую, полез через кустарник вперед.

Он сам не знал почему, но упрямо не хотел ехать на гать, если бы даже в безопасности этой дороги его убеждали семь разведок. Гать не могла быть не занятой немцами – это он чувствовал всей своей кожей. Правда, он не знал и другой дороги, где-то тут должно начаться болото, а как перебраться через него, с лошастью и телегой, он не имел представления и успокаивал себя тем, что там будет видно. Он уже был научен войной и знал, что многое становится ясным в свое время, на месте, что любой самый дальновидный план немногого стоит, что, как ни планируй, ни обдумывай, немцы или обстановка все переиначат. За время своей партизанской жизни он привык поступать, непосредственно исходя из обстановки, а не держаться, как слепой тына, какого-то плана, через который недолго оказаться в моголевской губернии и еще потащить за собой других.

Грибоед же, кажется, рассуждал иначе, и пока они продирались сквозь заросли, раздраженно покрикивал на лошадь, обзывая ее то холерой, то злыднем, то дергал за уздечку, то хлестал по бокам кнутовищем. Левчуку начала надоедать эта его показная злобивость, и он собрался прикрикнуть на ездового, как заросли кончились. Началась луговина, вокруг посветлело, прояснилось небо над головой; по росистой траве стлался холодный

туман, тянуло запахом гнили и водорослей – впереди лежало болото.

Повозка остановилась, а Левчук прошел по невысокой траве, пока под сапогами не начало чавкать. Тогда он вслушался. Издали все еще доносились выстрелы, но вблизи было тихо; потонув до половины в тумане, на болоте дремали кусты ольшаника, где-то негромко скрипел коростель, другие птицы, наверно, все спали. Левчук еще прошел немного вперед, под сапогами становилось все мягче, начался мшаник, ноги в нем завязли по щиколотку, в правом, с дырой, сапоге уже стало мокро. Но ехать тут, пожалуй, еще можно, лошадь пройдет, а за ней пройдет и повозка.

– Эй, давай там! – негромко крикнул он в серый туманный сумрак.

Левчук ожидал, что Грибоед вскоре тронется и догонит его, но минуто спустя, ничего за собой не услышав, он рассердился. Видно, этот ездовой слишком много брал на себя, чтобы не слушаться старшего, каким тут все-таки был назначен Левчук. Немного выждав, он скорым шагом вернулся к опушке и застал повозку на том самом месте, где и оставил ее. Похоже, Грибоед и не думал двигаться и, ссутулясь в своем кургузом немецком мундирчике, стоял возле лошади.

– Ты что?

– А куды ж ехать?

– Как куды? За мной едь! Куда я иду, туда и езжай.

– В болото?

– Какое болото! Держит же.

– Тут пока держать, а далее багна. Ужо я ведаю.

Левчук готов был вскипеть – он ведаёт! Багна – значит, надо перебираться через багну, не сидеть же тут до рассвета – разве этот ездовой первый день на войне?

Но он знал, что Грибоед не первый день на войне, что он, может, не меньше других научен этой войной, и это сдерживало Левчука от того, чтобы обругать ездового. Он только удивился, услышав, как тот недовольно заворчал о гати.

– Сказали же, через гать треба. Так же сказали? А то – болото...

– На гать, говоришь, да? – взъярился Левчук. – Тебя сколько раз стреляли? Два раза стреляли? Ну так вот, на гати застрелят в третий. В третий уже хорошо стреляют. – И, смягчившись, добавил: – Что тебе немцы – дураки гать так оставить? Мало что начальник сказал. Надо и свою голову иметь.

Покорно выслушав его, Грибоед трудно вздохнул:

– Так што ж! Я не против. Но как только?

– Двигай за мной!

Повозка медленно и бесшумно покатила по

невысокой траве, к самому краю болота. Лошадь все чаще стала припадать то на переднюю, то на заднюю ногу, которые временами проваливались глубоко, и, чтобы вытащить их, надо было сильно опереться остальными, и тогда проваливались эти остальные. Она все время дергалась так, стараясь выбраться на более твердое, только твердого тут, наверное, оставалось все меньше. Клава тоже слезла с повозки и шла сзади, Грибоед, часто останавливаясь, брал лошадь за уздечку и вел точно по следам Левчука. Но вот пришло время, когда и Левчук остановился: начинались заросли осоки, трясина; над болотистым пространством ползло низкое клочье тумана, между которым тускло поблескивали частые окна стоячей воды.

– Ну вот и въехали! – выдохнул Грибоед и притих возле лошади, от которой клубами валил пар, лошадиные бока ходили ходуном в одышке. Задние ее ноги уже до колен утопи в болоте.

– Ничего, ничего! А ну обожди, пусть конь передохнет.

Левчук бросил в повозку телогрейку и, хватаясь здоровой рукой за низкорослые кусты ольшаника, решительно полез в болото, забирая несколько в сторону, наискосок, – так еще можно было держаться. Он уже не берег своих ног, которые до колен были мокрые, в сапогах хлюпало и чавкало, мешала раненая рука, и он держал ее на

груди, засунув за пазуху. Очень скоро он провалился, едва не до пояса, как-то выбрался под ольховый куст, где вроде бы было потверже, – надо было прикинуть, в каком направлении двигаться дальше.

– Эй, давай сюда!

Повозка дернулась, лошадь выбросила по ходу переднюю ногу и сразу же провалилась по самый живот. Левчук, оглянувшись, подумал: вылезет – но не вылезла. Лошадь бросалась в стороны, билась, но выбраться из ямы не могла. Тогда он, булькая сапогами в жидкой грязи, вернулся и, пока Грибоед тянул коня за уздечку, уперся здоровым плечом в зад повозки. Минуту он толкал ее изо всех сил, намкнув по грудь, и повозка, как-то свалившись на бок, выползла из топи. Сзади, подобрав над белыми коленками юбку, перебралась через развороченное место Клава.

– О господи!

– Вот тебе и господи! – язвительно подхватил Левчук. – Закаляйся, понадобится.

Он снова отправился вперед, шаря в воде ногами. Но всюду было глубоко и зыбко, и он по пояс в воде с немалым усилием долго брел по трясине. Однако пригодного пути тут, наверно, не было. Он прошел сотню шагов, но так и не достиг берега – всюду была топь, осока, травянистые кочки и широкие окна черной воды, над которыми

курился сизый туман. Тогда он вернулся к повозке и ухватился рукой за оглоблю.

– А ну взяли!

Грибоед потянул за уздечку, лошадь послушно шагнула раз и другой, напрягла все свои силы, повозка немного сдвинулась с места и остановилась.

– Давай, давай!

Они вдвоем не на шутку впряглись вместе с лошастью: Левчук тянул за оглоблю, Грибоед с другой стороны – за гуж, лошадка билась, дергалась, все глубже погружаясь в черную, разбитую ногами жижу. Она старалась и смело шла, казалось, в самую прорву, куда ее вел ездовой, сверхлошадиным усилием волоча за собой телегу, колеса которой уже погрузились в трясины. Все они были по грудь в воде и в болотной жиже; по лицу и спине Левчука лился пот. Сзади, как могла, толкала телегу Клава.

Наверное, они пробарахтались бы до утра в этой прорве, а конца болота все не было. И тогда пришло время, когда все молча остановились. Чтобы окончательно не погрузиться в болото, они держались за оглобли и телегу; по хребет ушедшая в воду лошадь вытянула вперед голову, стараясь как-то дышать. Казалось, если бы не повозка сзади, то она бы поплыла по этой топи. Только куда было плыть?

Левчук впервые засомневался в правильности своего выбора и пожалел, что сунулся в это болото. Может, действительно лучше было ехать на гать – авось проскочили бы. А теперь ни назад ни вперед, хоть дожидайся рассвета. Или бросай тут повозку и неси на себе десантника. Хорошо еще, что Клава не упрекала, терпела все молча и даже в меру своих сил толкала повозку.

– Вот влезли так влезли! – сокрушенно сказал Левчук.

– Я же говорил! – живо подхватил Грибоед. – Влезли, як дурни якия. Як теперь вылезем?

– Может, с километр проехали, – тихо отозвалась сзади Клава. – О, боже, я уже не могу...

– Треба назад, – сказал ездовой. – А то и коня утопим, и этого. Да и сами. Тут окна есть – ого! По голову и еще останется.

Левчук растерянно вытирал рукавом лоб и молчал. Он сам не знал, как теперь быть, куда податься: вперед или назад? Да и сил почти уже не осталось ни у лошади, ни у людей: все до конца вымотались. Действительно, чем так выкладываться, подумал Левчук, может, лучше попытаться проскочить через гать?

– Стойте! – немного отдышавшись, сказал он. – Я посмотрю.

Он снова полез в болото, стараясь как можно меньше плескаться в воде, и в одном месте так

провалился в окне, что едва не скрылся весь, с головой. Все же кое-как удержался, ухватившись за кочку, но кочка, все ниже оседая в воду, оказалась плохой опорой, и он понял, что долго на ней не удержится. Тогда он резко отпрянул в сторону, к травяным зарослям, где оказалось помельче, и побрел, как он думал, не поперек, а вдоль по болоту. Теперь он уже не думал о том, как одолеть это проклятое болото. Теперь бы не утопить лошадь и не утонуть самому. Действительно, тут начиналась, пожалуй, самая глубь, прогалы воды стали шире, меньше стало травы, лоза и ольшаник совсем исчезли. Тут уже кстати была бы лодка, а не лошадь с повозкой, и Левчук в который раз выругал себя за опрометчивость. Как нелепо все получилось, обеспокоенно думал он, наверно, придется выбираться тем же путем назад.

С этой еще окончательно не оформленной мыслью он качал пробираться к повозке, одиноко застывшей посреди болота с двумя фигурами возле. Они терпеливо ждали его, но скоро должно было начаться утро, а утром им на голом болоте не место.

Но Левчук еще не дошел до них и ничего не придумал, как недалеко в ночи стремительным эхом прокатился по лесу выстрел. Через секунду ему ответил второй, дробным треском рассыпалась пулеметная очередь, глухо и важно ахнул миномет,

и мина, звонко пропев в самой высоте неба, лопнула где-то в лесу. И тут началось – загрохотало, завизжало, заахало, удивительно, откуда что и взялось в этой сонной туманной ночи.

Они все замерли там, где стояли. Левчук, разинув от удивления рот, впился в ночь, стараясь что-то понять или увидеть в ней, но в затуманенном полумраке ничего не было видно. И тут он почти содрогнулся в торжествующей злой догадке.

– На гати, ага?

– На гати, – уныло подтвердил Грибоед.

И они стояли, раздавленные сознанием внезапной беды, обрушившейся на других, и почти почувствовав, как просто эта беда могла обрушиться на них, четверых. Но они вот избежали ее, а каково сейчас тем, кто попал под этот огонь? Слушая стрельбу, все думали: кто кого? Но тут, наверно, нечего было и думать: стреляли немцы, весь огонь шел с той, их стороны. Опять же и минометы – в отряде минометов не было. Значит, кто-то все-таки не удержался от соблазна проскочить по гати, понадеявшись на разведку, и теперь вот расплачивается. Теперь там невесело.

И Левчук, знобко ежась от стужи или от осознания своей неожиданной удачливости, с радостным озлоблением набросился на своих помощников:

– Ну вот, вашу мать! А вы – назад! А ну давай

вперед! Изю всех сил вперед! Раз, два – взяли!

Прислушиваясь к стрельбе, они снова взялись толкать и тянуть повозку, стегать и понукать выбившуюся из сил лошаденку. Однако силы у них были уже не те, что вначале, да и повозку, наверно, засосало как следует. Напрасно помучившись, Левчук разогнулся. Перестрелка на гати все громыхала в ночной дали, и он, немного передохнув, снова полез в болото, забирая то влево, то вправо, широко шаря в воде ногами. Хорошо, что сапоги у него были кожаные, не кирзачи, намкнув в воде, они сели, плотно обтянув ноги, и не спадали, иначе бы он скоро остался босой.

Он решил прежде сам отыскать какой-нибудь путь к берегу, если только где не провалится с головой в прорву, а уж потом вывести за собой повозку. Теперь он перестал обращать внимание на глубину, все равно по шею был мокрый, и, хватаясь рукой за кочки, где шел, а где плыл, раздвигая грудью густую, вонючую топь. Слух его при этом все время ловил звуки боя на гати, который то затихал, то начинался снова, и было трудно понять, чья там берет верх. Может, наши сбили немецкий заслон, а может, заслон перестрелял партизан.

«Ну и дураки, – думал Левчук. – Зачем было переть на рожон, лучше уж так, по болоту. Если только там, за болотом, тоже не засели немцы...»

Удивительное дело, но теперь ему вовсе не

казалось страшным болото, скорее наоборот: страшно было там, на дороге и гати, а болото не впервые уже укрывало его, спасало, теперь он просто любил болото. Только бы оно не оказалось бездонным и, конечно, не очень бескрайним.

Как-то неожиданно для себя он различил в тумане вершины кустарника и с радостью понял, что это берег. В самом деле, через каких-нибудь двадцать шагов болото кончилось, за неширокой полосой осоки виднелись кусты ольшаника, перед которыми расстилалась лужайка с прокосами свежей травы. Он не стал даже вылезать на сухое, живо повернул назад, в болото, и по пояс в воде побрел к повозке. В этот раз он едва не потерял ее, пройдя в тумане дальше, чем следовало, но услышал сзади тихое хлюпанье воды и вернулся. В полузатопленной телеге сидела Клава, наверно, спасала от воды десантника, Грибоед бултыхался возле коня, не давая тому совсем погрузиться в болото. Они молчаливо дожидались его.

– Вот что! – сказал Левчук, хватаясь за оглоблю. – Надо по отдельности. Распрягай лошадь, перевезем Тихонова, потом, может, повозку. Берег тут, недалеко...

4

Начинало светать, когда в белом, как молоко,